

Бельведерский торс

Руки Микеланджело не всегда могли выразить
его великие и страшные мысли.

Вазари

В обстоятельных трудах по истории папского Рима обычно уделяется несколько страниц (а чаще строк) покушению Бенедетто Аккольти. Много лет тому назад Леопольд фон Ранке, имевший доступ ко всем книгохранилищам Рима, нашел рукопись под названием: «Questo è il sommario della mia deposizione par la qual causa io tongo». («Сущность моего показания о том, из-за чего я умираю».) Знаменитый историк очень кратко изложил содержание дела, упомянув (не совсем точно), что никаких других сведений о нем нет. Новейшие исследователи почти ничего не прибавили к рассказу Ранке, да и вряд ли видели рукопись № 674 (некоторые из них называют главное действующее лицо Аккольти); и лишь совсем недавно рукопись была опубликована бароном Пастором. Это главный источник по темному и странному делу, которое лежит в основе рассказа.

I. Поздний сирокко

1

На этого человека, который впоследствии погиб страшной смертью, тогда еще обратил внимание один из сторожей капеллы. День был праздничный, богослужение кончилось, посторонних пускали свободно. Обмениваясь шепотом восторженными замечаниями, они осматривали — кто фрески Перуджино, кто Филиппеи, а большинство зрителей стену со «Страшным Судом». Потолком любовались бегло, ибо держать долго запрокинутой голову было неприятно, особенно в такой знойный день. Прислушиваясь со снисходительной улыбкой к замечаниям соседей, молодой художник копировал ту часть фрески, где Боттичелли изобразил себя с Моисеем. Невысокий, некрасивый человек в потертой темно-синей куртке, не взглянув ни на что другое, долго стоял перед стеной «Страшного Суда», отошел, снова вернулся и уставился неподвижным взглядом на произведение Микеланджело Буонаротти. Люди стали расходиться, утом-

ленные жарой и обилием фресок, — всего не рассмотришь. Молодой художник, собрав свои вещи, ушел. Сторож, торопившийся как все, на игры Тестаччо, проходя мимо человека в темно-синей куртке, сказал, что капелла сейчас закрывается. Оттого ли, что сторож сказал это громко (тогда как в капелле все говорили вполголоса, почти шепотом), или потому, что он не заметил приближения сторожа, человек в темно-синей куртке вздрогнул и изменился в лице. Сторожу тогда показалось, что он уже несколько раз на своих дежурствах видел в капелле этого человека. — «Десятый час, капелла закрывается», — повторил сторож. Человек в темно-синей куртке что-то пробормотал и вышел.

Покинув Ватикан, он рассеянно пошел туда, куда шли другие, по правому берегу Тибра, в направлении к Авентину. Уже вторую неделю в Риме стояла нестерпимая жара, — такая, что непривычные люди, случалось, падали замертво, а привычные — с полудня до вечера сидели полуголые дома, часто обливаясь тепловатой, почти не освежавшей водой. В этот день подул, поднимая столбы пыли, сухой, горячий ветер, редкий в Риме поздний сирокко. Станный человек перешел через реку у острова. На Козьей Горе¹, изнемогая, он присел на огромный, пролежавший века без движения камень и устался на средину площади. Не так давно, по совету Микеланджело, на эту площадь перенесли древнюю конную статую, которая изображала не то Константина Великого, не то Марка Аврелия. Человек в темно-синей куртке подумал, что, быть может, где-нибудь тут же будет стоять и его памятник. Он взглянул на свои худые, слабые руки, сравнил себя мысленно с бронзовым атлетом на лошади — и горько усмехнулся. А впрочем, верно, и Марк Аврелий не был похож на свой памятник. Так он просидел минут пять, глядя на корову, пасшуюся посередине площади. И вдруг он снова услышал голос. Бледное измученное лицо его стало еще бледнее.

Свиньи хрюкали на форуме. Проходили люди, спешившие на игры. Человек в темно-синей куртке пошел за ними. По дороге он вспомнил, что ничего не ел с утра. Есть ему не хотелось, но силы были нужны. Он вошел в трактир. Там было жарко, душно, пахло дымом и дешевой плохой едой: хозяйка приготовила к обеду бараний суп, с чесноком и капустой. Запах этот был ему противен. Он присел к краю стола и спросил молока и хлеба. Хозяйка посмотрела на него неласково, как и соседи по столу. Обед кончался, вина было выпито немало, разговор был общий и веселый; в этом бедном маленьком трактире все друг друга знали. Говорили об играх; мельник сказал, что их цех пожертвовал таких быков, каких никто не видел с сотворения Рима; за пустое хвастовство женщина плеснула в мельника остатками супа, он швырнул в нее коркой, все захохотали. В комнату неторопливо зашел мул, — опять раздался хохот. Человек в темно-синей куртке ел хлеб, ни с кем не разговаривая, глядя все в одну точку: туда, где упиралось в стену второе из закопченных крашеных бревен потолка с повисшей на нем паутиной. Допив молоко, он расплатился и направился к выходу, но увидев полку с разноцветными бутылками, точно только теперь догадавшись, что в трактире могут быть спиртные напитки, спросил рюмку водки и проглотил ее залпом.

¹ Так тогда именовался превращенный в пастбище Капитолий. (Автор.).

С непривычки быстро захмелев, он пошел за толпою. Так же рассеянно, без всякого интереса, смотрел, как на вершине Тестаччо выстраивались обитые красным сукном телеги, как, при общем радостном хохоте, погонщики привязывали визжащих поросят и впрягали озирающихся быков, как занимали назначенные им места игроки, — некоторые из них бледнели, обнажая мечи. Раздался сигнал. Ошалевшие от жары, от ветра, от шума, от ударов, от уколов быки понеслись с горы, побежали и столь же ошалевшие участники игры. Когда один из них, задыхаясь, проскользнул перед самой мордой разъяренного быка, взмахнул мечом и страшным ударом отрубил поросенку голову, в общем реве, гоготе, визге потонул и отчаянный крик человека в темно-синей куртке. Пошатываясь, дрожа мелкой дрожью, он пошел прочь. Он и не видел, что внизу один из игроков, столкнувшись с другим, упал под ноги быка, и что к месту, по которому пронесли телеги, бросились люди с носилками. С искаженным лицом он шел по направлению к термам Каракаллы. Ему хотелось выпить еще водки, но трактира по дороге не было.

Голос, мучивший его по ночам, теперь преследовал его и днем. В этот день голос с самой минуты его пробуждения, изредка лишь замолкая, твердил ему все одно и то же, твердил, что он избранный человек, что он должен совершить убийство, что он должен заколоть отравленным кинжалом папу Пия IV.

Впоследствии стало известно, что его зовут Бенедетто Аккольти и что он сын давно сосланного, преступного кардинала. Знавшие его люди, как водится в таких случаях, рассказывали, что всегда считали его человеком, способным на самые ужасные дела. Но другие, знавшие его люди, тоже как водится (только шепотом), утверждали, что Бенедетто Аккольти не способен был бы обидеть муху. Некоторые вспоминали, что в глазах у него часто зажигались безумные огоньки; прежде, однако, они об этих безумных огоньках не говорили. Что он был за человек, так и осталось тайной.

2

Известный художник и писатель Джорджио Вазари, побывав в Ассизи для изучения фресок Сан-Франческо, решил перед возвращением во Флоренцию заехать в Рим, хоть было это никак не по дороге. Вазари придумал для себя дела, но главная цель его поездки заключалась, собственно, в том, чтобы еще раз побывать в Риме, подышать римским воздухом, полюбоваться римскими сокровищами и повидать разных художников, ваятелей, архитекторов: он готовил второе, переработанное, издание своей книги о людях искусства, которая принесла ему, пожалуй, больше славы, чем его картины. Образованные итальянцы читали его книгу с интересом и с гордостью: почти никто из них и не знал, что в Италии есть столь великие и изумительные люди. Остались, в общем, довольны книгой и художники, но каждый из них находил, что Вазари перехвалил других.

В этом была единственная неприятная сторона его поездки: он знал, что в Риме ему опять придется выслушать немало упреков, жалоб и даже брани. Думал он об этом с покорной скукой: иначе и быть не может. По долгому опыту ему было известно, что бесполезно говорить с художниками о других художниках, — а уж если говорить, то надо это делать умеючи. Вазари не очень любил людей, хотя прекрасно с ними уживался. Художников он предпочитал другим людям, — тем, у которых никогда не будет биографов, и которые никак не могли бы отличить Рафаэля от Джорджоне. Однако, всех художников, за редкими исключениями, он считал людьми ненормальными, а многих и буйно-помешанными. Так как никакой власти они друг над другом не имели и даже встречались редко, давно между собой рассорившись или просто будучи очень противны один другому, то особой опасности собой не представляли, в отличие от многих других сумасшедших. Тициан с яростью говорил Вазари, что Веронез и Тинторетто не имеют представления о красках; Микеланджело, в одну из своих редких кротких минут, объяснял ему, что из Тициана мог бы выйти превосходный живописец, если б только он умел рисовать. Вазари вежливо слушал, мягко соглашался или чуть спорил для приличия и с Тицианом, и с Микеланджело.

Когда художники очень ему надоедали, Вазари порою хотелось сообщить всю правду о том, что они говорили ему друг о друге. Это способствовало бы продаже его книги, но ему совестно было печатать такой вздор; скандалов он не любил и суждения художников передавал в очень смягченном и даже приукрашенном виде. Приукрашивал он и те общие мысли, которые слышал от великих мастеров. Иногда Вазари с огорчением, но и с усмешкой, думал, что от громадного большинства людей искусства вообще за всю свою жизнь ни одного умного слова не слышал; как он ни украшал их суждения, выходило все-таки неинтересно. Он, впрочем, говорил себе, что настоящее они берегут для себя и выражают — и то лишь неполно — в своих произведениях. Вдобавок, знал он не всех и думал, что, верно, Леонардо да Винчи был другой.

Те же люди искусства, которых он знал, говорили с ним больше о делах житейских. Одни горько жаловались, что их все обижают и что живут они в совершенной нищете; другие постоянно рассказывали, как они знамениты и как их боготворят бесчисленные поклонники. Вазари все выслушивал и многое записывал, хоть отлично знал, что его собеседники все врут или, по крайней мере, привирают: одни не умирают от голода, другие не получают по пяти тысячи дукатов за картину. Слушал он и жен художников, которые были еще ревнивее к славе мужей, чем сами мужья, — с женатыми художниками было совсем трудно. Но к трудностям своего ремесла он давно привык; отведя необходимое время вздору, жалобам, упрекам, брани, похвальбе, переходил к делу и небрежно спрашивал, нет ли чего интересного в мастерской. Обычно оказывалось, что настоящего, собственно, ничего сейчас нет, но есть так, пустячки. Показывая эти пустячки, снимая покрывало с картины, мастер часто менялся в лице и с беспокойством на него глядел: всем было известно, какой он знаток. Это льстило Вазари: он знал, что суждению тонких ценителей из общества художники никако-

го значения не придают и, если, слушая, не хохочут, то лишь из вежливости или из боязни. Благодаря своему опыту, терпению и порядочности, Вазари поддерживал очень добрые отношения с громадным большинством знаменитых мастеров и только с одним из них навсегда рассорился: этот дурак нагло ему сказал, что он, Вазари, пишет под влиянием Андреа дель Сарто, и что его «Тайная Вечеря» в монастыре Мурате много хуже той, которую покойный Леонардо написал в трапезной Сайта Мария делле Грации.

3

Дорога утомила Вазари, хоть путешествовал он не торопясь: дела были не спешные. Он с грустью думал, что прежде, в молодости, совершал гораздо более дальние поездки, притом не на муле, а на горячем жеребце, и усталости не чувствовал, или усталость тогда бывала другая. В ту пору путешествия, пожалуй, были главной радостью жизни: так любил он все новое, новые города, новые сельские виды, новые сокровища искусства, которые были лучше всяких картин природы. Он постоянно переезжал из города в город, нигде не засиживаясь, не привязываясь к отдельным местам, не требуя никаких удобств. Путешествия были, пожалуй, радостью еще и теперь, но со второго, с третьего дня приходили мысли о мягкой постели, о радостях оседлой жизни. Эти мысли его пугали, хоть было в них и чувство спокойной безнадежности, порою почти приятное.

К некоторому своему удивлению, он о женщинах теперь думал много больше, чем в юности. Тогда все было просто, мимолетно, как будто весело, — так, по крайней мере, ему казалось. А может быть, он тогда совершенно ошибался: это весело не было. Иногда всю ночь напролет он думал об этом, — о том, как нелепо и страшно устроен человек. Когда ему встречалась влюбленная пара, он смотрел на нее не с веселым сочувствием, как в молодости, а с чувствами мрачными — и чуть не с облегчением думал, что и для них придет — очень скоро — время увядания, старости и смерти. В чувствах и мыслях этих ничего не было, он знал, ни умного, ни нового, ни хорошего. Но отделаться от них Вазари не мог. С приятелями и сверстниками он беседовал о любви неохотно, так как они говорили о ней неискренно: одни прикидывались жизнерадостными победителями и развратниками; другие — давно остепенившимися людьми, и все говорили весело о том, о чем ему думать было тоскливо и страшно. Вазари думал, что в его жизни снова должна быть и будет большая, настоящая любовь, — последняя, а то, может быть, и предпоследняя. Он думал также, с усмешкой, что Тициан, которому исполнилось 86 лет и который всех уверял, что ему скоро 80, еще бегаёт за дамами, — правда, дамы и гонят его, со всей его гениальностью и славой. Однако, 52 года совсем не то, что 86.

В Ассизи Вазари был слишком занят фресками. Но в дороге мысли эти им овладевали при виде любой молодой женщины — ни с одной ведь больше никогда встретиться не придется, и так она и не узнает ни о нем, ни об его мыслях.

Когда он находился в нескольких переходах от Рима, вдруг началась нестерпимая жара. Он останавливался у каждой избы и жадно пил, что давали: молоко было теплое, желтовато-розовое Дженцано невкусно, — во Флоренции у него был запас превосходного французского вина из Арбуа. На переходах от колодца к колодцу Вазари очень страдал от палящего зноя: если бы знал, что будет так жарко, то отказался бы от поездки в Рим.

У одного из последних колодцев перед Римом он неожиданно встретил флорентийского знакомого, Леонардо Буонаротти, племянника Микеланджело. Это был приятный, но простой, малообразованный человек, интересовавшийся искусством только по семейной необходимости — из-за дяди. Вазари был рад встрече, он соскучился по человеческому разговору: в последние дни говорил только о питье, о ночлеге, о том, шалят ли поблизости разбойники. Ему, однако, показалось, что Буонаротти не очень обрадовался. На вопрос о здоровье Микеланджело, уклончиво ответил, что дядя, кажется, здоров, но писем от него давно не было: уже ничего не видит, и писать ему трудно. Тут же, немного поколебавшись, он сконфуженно попросил Вазари ничего не рассказывать об их встрече: «Дядя не должен знать, что я в Риме». Вазари понял, что Буонаротти приехал на разведку: он был наследником Микеланджело. С улыбкой, сделав вид, что считает просьбу вполне естественной, Вазари перевел разговор на другой предмет. Но настроение у него стало еще хуже, и опять он, в тысячный раз, вспомнил свое правило: ничего не ждать от людей и заниматься только тем, что создают и после себя оставляют некоторые, наиболее нелепые и несчастливые из них.

Вазари всегда останавливался в Риме на одном и том же постоялом дворе, где его знали и делали ему скидку как знаменитому человеку. Но на этот раз, сам как будто не зная почему, он выбрал другой постоялый двор, между Квириналом и Тибром. Ему отвели комнату в верхнем этаже. Поднимаясь по крутой лестнице, он вдруг с ужасом почувствовал сердцебиение — этого прежде с ним никогда не было; очевидно, так подействовала на него жара послеполуденных часов. Не раздеваясь, он повалился на диван. Слуга предложил поесть, Вазари не мог и думать о еде; потребовал кувшин воды и выпил залпом три стакана. К большой его радости, на постоялом дворе можно было принять ванну; он велел ее приготовить с мускусом, с мятой, с кедровыми листьями. В ванне отдохнул и успокоился: сердцебиение было от жары, и от этого адского ветра.

Шел шестой час вечера. Как бывает с людьми, приехавшими в город, где у них много знакомых и мало дела, Вазари испытывал не совсем приятное недомогание: как будто на все и времени не хватит, а сейчас делать нечего; повидать следовало очень много людей, но никого не нужно было видеть в особенности; все, вероятно, были бы рады встрече, но никто не был бы ему рад чрезвычайно; и к каждому из знакомых лучше было для начала прийти днем, а то вечером, без предупреждения, можно и помешать. Прежде всего, конечно, надо было бы зайти к Буонаротти, но мысль об этом посещении не очень улыбалась Вазари,

хоть оно могло дать несколько интересных страниц для второго издания книги: Микеланджело в 90 лет.

Чувства к этому человеку были у него двойственные. Он считал Буонаротти величайшим живописцем, скульптором, архитектором, когда-либо существовавшим на земле, и в письмах своих отзывался о старике в самых восторженных, нежных выражениях. При встречах они обнимались и даже плакали «*per dolcezza*»¹ (старик был слаб на слезы, хоть едва ли кого-либо любил). Дружба была старая, прочная, однако Вазари никогда не мог до конца преодолеть в себе ужас перед неестественным или сверхъестественным существом Микеланджело. В последний свой приезд в Рим он побывал у старика поздно вечером. Страдая бессонницей, Буонаротти работал и по ночам; в халате, в странной высокой шапке, к которой была прикреплена свеча из козьего жира, стоя на табурете с молотком и резцом в руках, дряхлый старик яростно правил статую, — у него она вызывала злобу и бешенство, а Вазари показалась верхом совершенства. При слабом, дрожащем свете свечи, в мастерской с пляшущими тенями, Микеланджело был похож на дьявола. Срывающимся старческим голосом, он проклинал всех и все, — и свое искусство, и жизнь, и мир, в котором он так за сиделся. Воплем и проклятьем были и чудесные его стихи.

Вазари надел надушенное белье, выбрал самый легкий шелковый костюм, с досадой увидев, что в сундуке наверху лежал тяжелый бархатный, отороченный мехом кафтан, взятый на всякий случай: вечера бывают холодные. Одевался он как подобало человеку его лет: без тщательности, — но опытному глазу было видно, что этот небрежно одетый человек привык и умеет одеваться отлично. Он очень легко поужинал, поговорил с хозяином, — тот, очевидно, никогда не слышал и его имени, — да, слава условна; в сущности, условно и доброе имя.

Он вышел с хозяином за ворота. Хозяин, точно чувствуя себя виноватым, говорил, что такого отвратительного сухого ветра в Риме летом никогда не бывает, это поздний сирокко, проносящийся чрезвычайно редко, быть может, раз в человеческую жизнь.

Жара все-таки немного спала. Давно знакомое, ни с чем не сравнимое очарование Рима охватило Вазари. Здесь с особой ясностью чувствовалось, что все условно, что надо пользоваться жизнью, что и в большом, и в малом надо жить по-своему, не оглядываясь ни на кого и всего менее на добродетельных семейных граждан. Вазари небрежным, чуть вызывающим тоном задал хозяину несколько вопросов. Хозяин нисколько не удивился, — привык давать гостям всевозможные указания — и, почти не понизив голоса, посоветовал сходить к одной очень славненькой генуэзке, недавно приехавшей в Рим и жившей совсем близко, у реки — объяснил, как пройти, но предупредил, что эта женщина страга² — «Ну, они все колдуньи», — сказал Вазари. Хотя мнение хозяина ни-

¹ Здесь: от умиления (*итал.*).

² колдунья (*итал. strega*).

сколько его не интересовало, ему все же было приятно, что, несмотря на его возраст, тот, видимо, не нашел ничего удивительного в его желании. — «Да, но некоторые не любят», — ответил хозяин. Вазари снова поднялся к себе в комнату. Сердцебиения не было. Он расчесал гребнем из слоновой кости длинную, с густой проседью, бороду, — недоброжелатели говорили, что Вазари и бороду носит под Леонардо, — спрятал в сундук деньги, захватил кинжал и вышел в хорошем настроении духа.

Невысокая, совсем молоденькая, еще с девичьей угловатостью, женщина, с красивыми чертами без нужды подрумяненного, умного личика, с большими, раз навсегда изумленными глазами, с выкрашенными в черный цвет, по-генуэзски, зубами, очень ему понравилась. Она действительно оказалась стрегой и скоро ему в этом созналась, добавив, что ее сестра — сибилла, а тетка — фата моргана. Вазари, хорошо знавший женщин веселого поведения, нисколько не возражал, не делал вида, будто поражен или принимает сообщение в шутку, и равнодушно поддакивал: фата моргана, так фата моргана. Стрега торговала разными полезными снадобьями; в красивом бронзовом ящичке у нее оказались берцовая кость, кусок человеческой кожи, подошва, срезанная с сапога покойника, детский пупок и несколько волшебных мазей разного назначения. Никакого снадобья Вазари не купил, но ящичек зарисовал в записной книжке. Узнав, что он живописец, стрега обрадовалась и попросила написать ее: ей давно хочется, так хочется, иметь свой портрет, хороший, настоящий. Вазари засмеялся. В этой милой молоденькой женщине, неизвестно почему занимавшейся таким ремеслом, было то самое, что когда-то было в нем, а может и еще сохранилось: страстная любовь к жизни, желание взять от нее все что можно. Он с улыбкой подумал, что, верно, она и свое ремесло стрегии знает превосходно и что она своими руками готова была бы задушить других стрег. «При вечернем свете нельзя, я приду завтра», — сказал он весело.

В маленькой комнате было жарко и душно, пахло мускусом и снадобьями, — стрега красила черные волосы в соломенный цвет смесью из апельсиновой корки, виноградного сока, пепла и чего-то еще. Она принесла белого вина, — Вазари присмотрелся к нему подозрительно, но вино было обыкновенное, без детских пупков, и недурное, только теплое. Он был очень доволен этим первым вечером в Риме. Под утро стрега заплетающимся языком объясняла ему, что недавно летала на крыльях в Париж и очень боится, как бы ее не сожгли. Вазари, засыпая, лениво и невнятно спрашивал ее, хорошо ли она слетала, и свежо ли было в воздухе, на большой высоте.

Утром стрега накормила его яичницей и *fritto misto*¹. Он сказал ей, что давно так вкусно не завтракал. Стрега посмотрела на него, широко раскрыв изумленные глаза, — точно он говорил необыкновенные, волшебные слова. От платы она отказалась, сказав совершенно искренно, что любит его, — и взяла только за вино и завтрак; но за вино и завтрак посчитала столько, что в обиде не осталась. Это тоже позабавило Вазари; он незаметно сунул в ящичек дукат. На прощанье

¹ блюдо из жареного лося (*итал.*).

она заставила его обещать, что завтра он к ней вернется, и срезала прядь его волос, на память. Вазари знал, что она прокипятит волосы в масле и будет продавать как любовное снадобье. Но он ничего против этого не имел: всем надо жить, надо жить и стреге.

Сирокко еще усилился за ночь. Вазари быстро шел по узкой улице, зажмурив глаза и сжав губы. Он думал, что эта женщина необыкновенно мила и что он чуть только не влюбился в стрегу. Ему было и смешно, и совестно: вот что такое оказалось жить по-своему! Конечно, было бы гораздо лучше сделать визит Микеланджело или осмотреть свои давние работы. Но ни Микеланджело, ни фрески не уйдут. Опять ему пришли в голову мысли, что в любви и в творчестве есть общее.

Хозяин постоянного двора с одобрительной улыбкой встретил его у ворот. Вазари смущенно улыбнулся и снова заказал прохладную ванну. Солнце палило, дышать при этом ветре было трудно и больно.

4

В канцелярии папы Вазари пришлось ждать довольно долго. Из кабинета заведующего доносились голоса; посетителей, очевидно, можно было принимать только по очереди; тем не менее Вазари чувствовал раздражение: во Флоренции положение его в последние годы стало значительным, он привык к почету со стороны сановников и самого герцога. В приемной было очень душно; окна были затворены из-за сирокко.

Заведующего ждали четыре человека. В трех из них легко было узнать художников; они желали получить пропуск в капеллу папы Сикста для копирования фресок. Никто из них Вазари не узнал. Этому тоже удивляться не приходилось, — откуда им было знать его по наружности? Но он угрюмо думал, что, если б сторож сейчас громко назвал его фамилию, то не последовало бы восторженного шепота: «Вазари, Вазари!!». Молодые художники становились все невежественнее.

Вскользь, по профессиональной привычке к наблюдению, он обратил внимание на четвертого посетителя, немолодого, некрасивого человека в темно-синей куртке. Этот был не художник. Лицо у него было странное, изможденное и злобное; оно чем-то напомнило Вазари лицо Микеланджело. Человек в темно-синей куртке не сидел на месте, как другие, а все пересаживался со стула на стул или быстрыми маленькими шагами прохаживался вдоль стены. Художники поглядывали на него с насмешливым недоумением. Его первым позвали к заведующему; через минуту он вышел из кабинета с пропуском в руке, — так и не спрятав пропуска в карман, — еще раз прошелся по приемной, точно не мог сообразить, что теперь нужно делать и где выходная дверь, затем, ни на кого не взглянув, поспешно удалился.

Позвали, наконец, в кабинет и Вазари. Он сухо объяснил старому благодушному монаху, что дела, собственно, не имеет, но находясь проездом в Риме,

счел долгом явиться в Ватикан и был бы весьма признателен, если бы при случае о нем доложили святому отцу; быть может, папа пожелает объявить ему свою волю относительно времени возобновления работы над фресками Scala Regia начатой им три года тому назад?

Заведующий канцелярией был очень любезен. Сказал, что слышал о нем, Вазари, самое доброе, — книг же его не читал и картин не видел или не помнит: «это ведь дело не наше», — пояснил он с такой простодушной улыбкой, что обидеться было никак нельзя. Он посоветовал Вазари явиться на ближайший выход папы: святой отец, наверное, побеседует с ним отдельно, а может быть, его пригласят и к столу, — папа Пий очень прост, с церемониалом мало считается, не то, что покойный папа Павел, — и нередко приглашает к своему столу писателей, ученых, художников. Вазари поклонился. Являться на выход в надежде, что позовут к столу, было совестно, — а вдруг не позовут? Ему, впрочем, случилось обедать за столом папы. Стол в Ватикане был превосходный, подавались и трюфли, и феррарская стерлядь, и павлины со спаржей, и необыкновенные вина, — но те светские люди, которые любили поесть, принимали приглашение к папскому столу не слишком охотно: по церемониалу, каждый раз, как папа подносил кубок к губам, все гости должны были вставать; а если папа отказывался от какого-либо блюда, то его не давали и гостям. Вазари, однако, чувствовал, что, несмотря на эти неудобства, от приглашения папы не откажется.

Получив постоянный пропуск, он вышел из канцелярии. Ветер — все тот же, жгучий, мучительный, — дул еще сильнее, чем раньше. «Как они тут в Риме от этого проклятого сирокко не сходят все с ума?», — хмуро подумал Вазари. Вдруг на дворе произошла суматоха. Конюхи быстро провели великолепного мантуйского жеребца. Стража вытянулась, люди упали на колени. Вазари издали увидел, что по лестнице спустился папа Пий IV. Он кивнул головой сопровождавшим его людям, очень легко, несмотря на свой возраст вскочил на коня, расправил поводья и ускакал по направлению к Ватиканским садам. За ним, в некотором отдалении, поскакали тайные полицейские агенты, — папа ездил каждый день верхом по Риму и не выносил сопровождения стражи. Упавшие на колени люди вставали и обменивались восторженными замечаниями: римляне очень любили доброго, милостивого папу и ласково его называли «Медицино»: он был из простых миланских Медичи, не имевших общего с знаменитой флорентийской семьей. Нравилось римлянам и то, что в свои годы он ездил верхом, да еще так прекрасно: этого не видели со времен Льва X. У лестницы Вазари, с неприятным чувством, увидел того же человека в темно-синей куртке, — как и все, он глядел вслед папе. «Какое страшное лицо!», — подумал тревожно Вазари.

Он вошел в вестибюль. Осмотр фресок не доставил ему никакого удовольствия. С тягостным недоумением глядел Вазари на свою работу: неужели это написал он? В сущности, и сделано было не очень много, работы оставалось на годы. Не понравился ему теперь и замысел, — а ведь тогда казалось чудесно. Долго осматривал он фрески и становился все мрачнее. Кое-что было, правда,

недурно, но и это требовало переделки: лучше бы все начать сначала. «Да, если бы еще прожить лет сто, можно было бы оставить и настоящее...» В вестибюле, на лестнице никого не было: никто его живописью, очевидно, не интересовался. В капелле папы Сикста, напротив, работало человек десять художников; почти все они копировали Микеланджело. Посетителей не было, — только впереди кто-то стоял перед стеною. Художники оторвались от работы и бегло взглянули на вошедшего человека; шепота «Вазари, Вазари!» опять не последовало. Вазари оглядел потолок, столь давно ему знакомый: он знал тут не только каждую группу, но каждое красочное пятно, знал — когда-то изучал с восторженным изумлением — чудеса этих фресок. Все это было, конечно, чудом искусства, чудом знания, чудом изобретательности: техническим откровением был каждый ракурс. Но ему теперь не хотелось восторгаться Микеланджело.

Рядом с ним какой-то юноша уже почти закончил «Иеремию». Вазари с отвращением смотрел и на него, и на его работу: этот молодой человек был явно бездарен, и ему лучше всего было бы немедленно бросить живопись и заняться торговлей или скотоводством. Другие казались как будто способнее, но и их следовало бы отсюда выгнать. Вазари думал, что престарелый Микеланджело давно стал душителем искусства: он их раздавил своим гением, авторитетом и славой, все они хотели бы писать под него, и выходит дрянь, так как писать под него невозможно. Микеланджело иногда горько жаловался, что не оставляет после себя школы. Но Вазари, знавший его наизусть, отлично понимал, что старик и не хочет никого учить, — никому никогда, за самыми редкими исключениями, своих секретов не раскрывает, именно для того, чтобы не делать художников. И, в сущности, он прав: если наказывают плетью за обыкновенное воровство, то надо было бы наказывать плетью и за воровство в искусстве. Однако, тут же Вазари угрюмо подумал, что сам он учился у Андреа дель Сарто, у многих других, и всего больше на этих же фресках, — да учился же в молодости и Микеланджело! Мысли его о молодых художниках были несправедливы, — но он не подрядился всегда и во всем быть справедливым.

Вазари приблизился к стене «Страшного Суда». Он знал, конечно, и это старческое произведение Буонаротти, но оттого ли, что с этими фресками он познакомился не в молодом возрасте, а гораздо позднее, «Страшный Суд» запечатлелся в его памяти гораздо хуже, чем фрески потолка. Он оглядел все, затем отдельные группы, фигуры, подробности фигур, затем снова все.

Вазари не помнил, кто тут кого изображал. Смутно ему вспоминалось, что изверг внизу, замахнувшийся веслом на толпу, был, кажется, Харон, а человек, непристойно охваченный змеей, Минос, — а может быть, и не Минос: кто их разберет, да и как они-то сюда попали? На фресках были тела, все голые, страшные, неестественно-атлетические тела, — сколько их? двести? триста? — а то кости без мяса, кости, чуть обросшие мясом, скелеты, уже похожие на людей, люди, еще похожие на скелеты. Тут были изображены все виды страданий и мучений, несчастны, неприятны были и те, кого оправдал суд. Вазари спросил себя, что все это может означать. Он знал, как пишут художники, и понимал, что философского смысла в картинах искать и не следует. Это, однако, был Ми-

келанджело, к нему требования другие. Вазари порою сомневался, верит ли старик хоть во что-нибудь, и скорее склонялся к тому, что не верит ни во что: уж очень он мрачен и уж очень всех ненавидит. «Но с чертями у него счет запутанный. Вот и здесь черти торжествуют так весело. В это, в торжество чертей в мире, он верит. И так естественно идут у него люди в ад: туда им всем и дорога. Чем же мы виноваты, что ему смертельно опротивел мир? А может быть, ему просто надо было изобразить по-новому сотни тел, так, как их до него никто не изображал, и так, чтобы ни одна поза не повторяла другую? Лучше бы тогда изображал что-либо другое, только сбивает с толку людей, — с раздражением думал Вазари, вспоминая, что и папа был недоволен фресками Микеланджело и если не велел их замазать, то лишь из уважения к гениальному человеку. — У этого полубезумного старика душа преступника, и место его фрескам на стене ада или дома умалишенных...»

Вдруг взор Вазари упал на человека, который стоял наискось от него, впившись глазами в стену. Это был тот самый человек в темно-синей куртке, с мрачным, преступным лицом, попадавшийся ему сегодня в третий раз. И из-за мыслей, только что у него проскользнувших, сходство этого человека с Микеланджело теперь поразило Вазари.

В самом мрачном настроении он вышел из зала и быстро спустился по лестнице, стараясь не глядеть на свои фрески: все-таки после фресок Микеланджело ему на свои смотреть стало еще тяжелее. Он внезапно почувствовал усталость и сел на скамью в вестибюле. Кругом стояли статуи, много статуй, все прекрасные статуи. Статуи стояли и за стеной, за окнами; там на бельведерском дворе стоял и на шумевший древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Вазари и собирался все это осмотреть, освежить в памяти торс, статуи, казино. Но теперь ему никуда идти не хотелось: он чувствовал отвращение от искусства, от скрытого в нем тревожного, мучительного начала. Он думал, что только неискренние люди могут долгими часами подряд любоваться всеми этими утомительно-белыми фигурами, вот хотя бы этой мраморной красавицей... Вдруг на мраморной красавице появились изумленные глаза, плечи ее стали угловаты, и она пошла к очагу быстрой, энергичной походкой, как-то странно, на бок, размахивая на ходу руками. «Старый дурак, ошалел от этой стрегии! — озадаченно сказал себе Вазари. Но лицо его просветлело. Он встал и направился к выходу. — Уж не это ли настоящее? Поздно же догадался», — с насмешкой над собою думал он. Сбоку, со стороны сада, рванул и обжег его сирокко.

Стрега не без волнения поднялась по лестнице и постучала в дверь к жившему над ней соседу. Он поселился тут совсем недавно, вскоре после нее, и очень ее интересовал: по ночам долго ходил по комнате, разговаривал, кажется, сам с собою, а иногда громко вскрикивал, — потолок был тонкий, окна отворе-

ны, и слышно было почти все, что делалось у соседа. Шум не мешал ей, спала она отлично, но ее очень занимало: что за человек? По некоторым признакам ей казалось, что он колдун. Стрега знала, что есть колдуны настоящие, — не такие, как она. Вдруг этот настоящий? Впрочем, по другим признакам как будто выходило иначе: нет, не колдун.

Изнутри кто-то на цыпочках подкрался к двери, — это не понравилось стреге. Через полминуты хриплый голос негромко спросил: «Кто стучит?» Дверь отворил человек в темно-синей куртке: он... Из квартиры пахло острым, неприятным запахом трав или лекарств. — «Так и есть, колдун!», — подумала стрега, замирая, и пожалела, что пришла. Запинаясь, объяснила: он, верно, ее знает, она его соседка по дому, у нее в кухне погас очаг, а трута, как на беду, нет, нельзя ли получить огня? На всякий случай улыбнулась деловой улыбкой. В первую минуту ей показалось, что напрасно она старается: тут делать нечего. Человек в темно-синей куртке оглядел ее тяжелым взглядом, подумал, заглянул в свою комнату и вполголоса попросил соседку войти.

Оттого ли, что голос у него был тихий, лицо с отсутствием и следов улыбки, а глаза неподвижные, или от сильного запаха в комнате, ей стало не по себе. Комната была такая же, как у нее (это почему-то немного ее успокоило), но обставлена иначе, — потом она смутно вспомнила, что там были книги, что-то стеклянное, непонятная посуда. На столе стоял котел, — отсюда, верно, и шел запах. Но стоял он не на огне, — значит, не суп и не лекарства: она свои снадобья всегда варила, больше по привычке к кухне. «Очень трудно мужчине, если кто одинокий», — сказала она, чтобы не молчать, привычную фразу. И вдруг ей показалось, что первое впечатление, редко ее обманывавшее в таких делах, могло быть неверным. Ничего не ответив, не сводя с нее своих маленьких, стеклянных глаз, он зажег и подал ей щепку. Ей без причины стало совсем жутко. Она что-то пробормотала, не докончила и поспешно вышла, точно опасаясь нападения.

На лестнице стрега, немного успокоившись, с досадой бросила и растоптала щепку: огонь у нее был. «Неприятный человек! Тяжелый человек! — подумала она. — Какие разные бывают мужчины: сравнить только со вчерашним живописцем! Тот такой милый, какая жалость, что старик...» Она спустилась по лестнице с беспокойным чувством, — неприятно все-таки иметь такого соседа, — и радостно вскрикнула: на пороге входной двери появился вчерашний живописец.

Аккольти задвинул засов и со вздохом вернулся к работе. Снял крышку с котла, — неприятный запах очень усилился. В котле готовился вежетабль: отравленные мышьяком, мелко истолченные жабы в немецком соленом вине настаивались на ядовитых травах. Это было действительно, чем сулема, фосфор или яд Цезаря Борджиа. Из вежетабля изготовлялась мазь, которой смазывалось оружие.

Снизу слышались радостные голоса. Он прислушался. У этой блудницы был гость, — один из тех людей, что там изображены, на стене, в правом ниж-

нем углу. В ад ему и дорога! Ее жалко... Аккольти помешивал в котле палочку, прислушиваясь: не заговорит ли голос? Но голос как на беду молчал и больше не объяснял, почему надо убить папу. Все говорили, что папа очень добр. Но ведь это знал и голос, а он неизменно твердил: надо убить папу, надо претерпеть муку, очень скоро будет столпотворение¹, затем страшный суд — тот самый, что написан там на стене, — и он, Аккольти, станет владыкой мира. Внизу целовались. Он вдруг пришел в волнение и даже вынул палочку из котла. Велика в мире власть женщины... Не лучше ли привлечь сообщников. Монфредо влюблен в графиню Каносса, можно привлечь всех трех... Если дело завтра не удастся, надо будет привлечь их. Это значит отложить надолго. Но, может быть, нужно еще пожить грешной жизнью: ведь голос молчит... Он зашагал по комнате, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Ему захотелось, чтобы завтрашнее дело оказалось неосуществимым.

6

— Бракеттоне! Бракеттоне!² — закричали молодые художники. Безобидного вида старичок вошел, с трудом волоча за собой лесенку. Его так встречали всегда, и он давно привык к своему прозвищу. Но на этот раз хор был особенно шумный и продолжительный: молодых художников собралось много и им было весело. По долгому опыту бракеттоне знал, что лучше всего делать вид, будто их крики очень ему приятны. Руки у него были заняты, да и голову наклонять было из-за лесенки неудобно, и он раскланивался только глазами и бровями. Хор продолжал петь, у молодых художников давно выработался и напев. Бракеттоне осторожно поставил лесенку у стены «Страшного Суда», попробовал, как бы не повалилась, затем снял, как все, куртку, вытер голову платком и неторопливо полез наверх. Ему было поручено начальством закрасивать неприличные места на фресках Микеланджело. Плата была не сдельная, а помесечная, и старичок не спешил. Он этой работой жил не первый год, как до него жили другие. Начальство смотрело на медленность работы сквозь пальцы: за такое дело возьмется не всякий.

Молодые люди орали; это было приятным, хоть и утомительным в жару, развлечением. Бракеттоне не обращал на них ни малейшего внимания. Вид его ясно говорил: «Охота ж вам, право! Разве я сам не понимаю? Но ведь есть и пить надо?..» Художникам скоро надоело орать, они занялись своим делом, разве изредка кто-либо пробасит или выкрикнет фальцетом: «Бракеттоне!..»

Юноша, закончивший «Иеремию», теперь работал над «Созданием человека». Старичок с лесенки сказал ему комплимент: Адам очень подвинулся с прошлой недели, а левая рука у него и совсем хороша. Бракеттоне не пользо-

¹ Посланник герцога Феррарского в Риме, Фр. Приорато, видевший Аккольти в тюрьме, на своеобразном итальянско-немецком языке доносил герцогу об этом Горгулове XVI-го века: «Inspirato dal demonio et da pazzia... Accolti verküündet so falsche Prophezeiungen, dieses Jahr werde alles drunter und drüber gehen, dass er pazzo scheint». («Под влиянием демона и своего безумия... Аккольти делает столь нелепые предсказания (в этом году все пойдет прахом), что он кажется сумасшедшим»). — Автор.

² Переводится: «Панталонщик». — Автор.

вался авторитетом, над ним все потешались, однако юноша просветлел: левой рукой Адама он и в самом деле особенно гордился, хоть ему чрезвычайно нравилось и все остальное: ну, не как у Микеланджело, а все-таки очень, очень хорошо. Старичок дал ему полезный совет относительно красок; хоть претензий он давно не имел, но кое-что знал в своем деле; к его указанию прислушались и художники постарше, а один даже что-то переспросил. Ободренный вниманием, бракеттоне стал рассказывать о прежних художниках. Он отлично помнил, как Буонаротти писал этот потолок, был знаком с Рафаэлем и даже присутствовал при легендарной ссоре Микеланджело с Леонардо да Винчи. — «Врешь, врешь», — закричали художники, и в самом деле, как будто, это по годам не выходило: Леонардо умер почти полвека тому назад, и не перед самой же его смертью была ссора. Но бракеттоне божился, что собственными глазами видел, — как сейчас помнит, вот как стоял Леонардо, — «красавец был, ах, какой красавец!». — «Врешь, ну, конечно, врешь», — твердили художники. Старичок не обиделся и продолжал рассказывать. Он вообще много видел собственными глазами. Побывал и во Франции, и в Германии; в Эйслебене на улице ему однажды показали нечестивого монаха Лютера, у которого на голове были рога, как у оленя. Его как раз вскоре после того свели в могилу евреи: он простудился, а они сейчас же сговорились с дьяволом и послали ледяной ветер, — разумеется, на этот раз очень хорошо сделали, но... — «Врешь, врешь!..» — заорали художники.

Вдруг дверь отворилась — так, как отворяется только перед высокопоставленными людьми. Поспешно вошел слуга и, повернувшись, помог войти дряхлому сторбленному человеку. В зале произошло смятение. Бракеттоне застыл на лесенке. Молодые люди вскочили с табуретов. «Микеланджело!», — прошептал кто-то. Юноша так и обомлел. Одни художники не видели этого человека никогда, другие не видели очень давно. Ему было почти девяносто лет, он редко выходил из дому и, по слухам, болел; говорили, что он может умереть каждую минуту.

Он был в самом деле очень дряхл и неестественно сторблен, — трудно было даже понять, как собственно он ходит. При согнутой колесом спине, голова его была поднята, и это придавало ему звериный вид. Правой рукой он тяжело опирался на палку, левой нервно обдергивал редкую, довольно длинную, желтовато-седую бороду. Он остановился на пороге, не сразу сообразив, где находится, — видел теперь очень плохо; на солнце, через 10-15 минут, больше не видел почти ничего, и прогулка для него всегда была опасна, хоть его сопровождали слуги. При мягком свете залы зрение к нему вернулось; маленькие карие глаза вдруг зажглись. Он тяжело вздохнул, шагнул вперед и снова остановился, как бы не зная, что делать дальше.

Бракеттоне бесшумно, на цыпочках, спустился по лесенке, надел куртку, маленькими шажками приблизился к старику и произнес цветистое приветствие: для них, для скромных художников, великая честь и счастье увидеть свое-

го короля, гордость мира, солнце Италии. Микеланджело молча на него уставился, не слыша или не понимая его слов. Художники продолжали стоять, раскрыв рты. Этот человек, создавший несколько искусств, споривший с Леонардо да Винчи, бывший знаменитостью почти семьдесят лет тому назад, собственно уже не мог и считаться человеком: он был сказкой, как Дант, Гомер или Фидий.

Слуга, наклонившись к его уху, громко сказал, что тут молодые художники хотят показать ему свои картины, — хорошие картины, — и, подмигнув, знаком велел художнику, стоявшему ближе других, подать что есть. Художник сорвался с места и схватил свою картину с подставкой. Это была копия одной из групп «Страшного Суда». Микеланджело как будто не понял, чего от него хотят, затем приблизил голову к картине. Он не сразу узнал, что это такое, и ужаснулся, что не сразу узнал. Еле слышным голосом он сказал несколько слов. Растерянный художник низко поклонился и потянулся было, чтобы поцеловать ему руку. Но Микеланджело, тяжело опираясь на палку, пошел дальше.

В этом помещении он провел много лет. Четыре года подряд, весь день и часть ночи, лежал наверху на досках, работая над фресками потолка. Затем уже почти стариком снова сюда вернулся для работы над «Страшным Судом». Столько мук, столько горя, столько же радости и счастья — нет, радости и счастья гораздо меньше, неизмеримо меньше! — пережил он в этой на весь мир, на тысячелетия, прославленной им капелле. Теперь он едва видел то, что здесь создал, и знал, что видит это в последний раз в жизни...

Бракеттоне почтительно следовал за ним, стараясь отвлечь его от стены «Страшного Суда». Молодые художники пришли в себя и заговорили. Старик на них оглянулся: это все были молодые люди, учившиеся искусству, — их ждал тот же обман, их ждет то же, что ждет его, быть может, сегодня, самое большее через несколько месяцев. «Потолок этой капеллы лучше звездного неба, и когда смотришь хотя бы на «Создание Адама...» — журчал испуганно бракеттоне: Микеланджело упорно шел к стене. Взгляд его остановился на «Страшном Суде». Он подумал, что навсегда унесет с собою все то, что хотел сказать, все свои тяжелые, страшные мысли. «...Чувствуешь, что несешься в рай!», — уже с трепетом прожурчал старичок. Микеланджело заметил его работу. Он знал. — но забыл, — что его фрески приводятся в порядок, — это когда-то вызывало у него припадки бешенства. Из его уст полилась ужасная брань, смешанная с проклятиями, которых и не слышали никогда молодые художники: это были ругательства прошлого века.

Бракеттоне перестал журчать, на лице его изобразилось почтительное огорчение: он явно был тут ни при чем. Слуга неодобрительно качал головой: нехорошо старику так ругаться. Молодые художники молчали. Вид Микеланджело был страшен. Пошатываясь, он пошел к выходу. Бракеттоне тревожно на него глядел: что, если он сейчас умрет?

Аккольти в этот день с утра побывал в Ватикане. На этот раз больше по привычке, и то лишь на мгновение, рассеянно остановился перед фресками Микеланджело. Вид у него был уверенный: «Да, знаю, все знаю!..» Он в этот день, рано утром, снова услышал голос: дело надо совершить сегодня. Пришел он для того, чтобы все в последний раз осмотреть и обдумать на месте. Времяпровождение папы ему было теперь хорошо знакомо: утром прогулка верхом, затем месса, государственные дела в кабинете, обед, прогулка пешком в саду, аудиенции. Давно было принято решение, что заколоть папу надо во время послеобеденной прогулки, было выбрано и место. Пий IV гулял без охраны, лишь в сопровождении слуги, который нес за ним зонтик.

С виду Аккольти был совершенно спокоен, и разве только очень наблюдательный человек мог бы заметить в его поведении что-либо странное. По двору вели лошадей: да, в самом деле папа должен отправиться на прогулку верхом. Аккольти подумал было, не совершить ли дело сейчас. Нет, голос сказал: после обеда. И в самом деле тут папу всегда провожает много людей. А что все-таки, если попробовать сейчас? Скорее конец... Он задумался — и не сразу вспомнил, что ведь кинжала при нем нет, — сам удивился, как мог забыть об этом. Глядя вслед лошадям, он представил себе снова, в сотый раз, сцену четвертования. Страшно? Да, конечно, страшно, но голос знает, что нужно. Вдруг он увидел, что гнедую лошадь ведут не к лестнице, по которой папа выходил из своих покоев, а куда-то дальше, в сад. Это чрезвычайно его взволновало: в чем дело? Он поспешно подошел к разгуливавшему по двору гвардейцу и спросил, куда же это ведут лошадей святого отца, — спросил и сам ужаснулся неосторожности своего вопроса. Но гвардеец, очевидно, ничего странного в вопросе не нашел и ответил, что папа, из-за адской жары и сирокко, переехал вчера в свой летний домик, в казино.

Аккольти остановился пораженный. Однако, голос все знал и тут же твердо заявил, что перемена решительно ничего не значит: хотя папа ночует в другом здании, порядок его дня не изменился, и он, конечно, сегодня пойдет гулять так же, как во все другие дни, только из казино. Это было верно. Ну, что ж... Аккольти прошел к аллее, которая вела от казино к Бельведеру. Пускали всех свободно, никакой особой охраны не было. Да, голос прав, он всегда прав.

Выбрав новое место, Аккольти вернулся домой: еще оставалось немало дела. Мазь из вежетабля была готова, но надо было смазать кинжал. Поднимаясь к себе по лестнице, он вспомнил о женщине, которая к нему заходила, почему-то остановился у ее двери и прислушался. Лицо у него стало тяжелое. Не было слышно ничего: верно, нет дома. Аккольти вошел в свою квартиру, задвинул тщательно засов и достал из ящичка большой кинжал прекрасной точной работы. Кинжал был в ножнах. Он долго думал, оставить ли ножны. Если оставить, — потеряешь несколько секунд, от которых все может зависеть. Если взять без ножен, — очень легко уколется. Аккольти решил, что можно, вместо тонкой куртки, надеть кафтан, а под кафтан толстый кожаный кам-

зол, — тогда не уколешься. Попробовал, переоделся, в самом деле выходило хорошо: под кафтаном кинжал совершенно незаметен, а выхватить его — одно мгновение. Он смазал лезвие мазью так ловко и осторожно, точно всю жизнь этим занимался. Теперь любая рана смертельна.

Засунул кинжал концом длинной рукоятки за пояс камзола, лезвием вверх, попробовал — очень удобно, — походил по комнате, ожидая, не заговорит ли голос, и, ничего не услышав, лег на постель. Так он пролежал с полчаса. Вдруг он поднялся, трясась всем телом. «Нет, не боюсь, не боюсь!..» — пробормотал он, озираясь по сторонам, и с невыразимым облегчением подумал, что можно выпить водки. В бутылке ничего не оставалось. В самом деле все выпито прошлой ночью. В лавку идти далеко, да лавки и закрыты в эти часы. Он подумал снова о своей соседке: у таких женщин всегда бывает вино. Спустился по лестнице и постучал, сначала тихо, потом вдруг громко и яростно.

За дверью слышался недовольный мужской голос, женский шепот. Стрега отворила дверь и попятилась. Он оглядел ее тяжелым взглядом, шагнул вперед, она взвизгнула и бросилась в комнату. На пороге появился полуодетый мужчина. На его лице изобразилось изумление. — «Что вам нужно?» — резко спросил он. Глядя на него с ненавистью, Аккольти объяснил свою просьбу и тут только сообразил, что под расстегнутым кафтаном у него за поясом кинжал, лезвием вверх. Он очень смутился, что-то пробормотал и запахнул кафтан. Вазари продолжал с изумлением на него смотреть. Стрега, стоявшая на пороге комнаты, засуетилась: «Водка? Ну да, разумеется, есть водка, отличная, сейчас, сейчас...» — и потащив за рукав рубашки Вазари, скрылась за дверью. Аккольти слышал, как мужчина спросил вполголоса: «Кто этот сумасшедший?..» Женщина зашикала и вынесла незакупоренную глиняную бутылочку. — «Отличная, старая водка...» Он поблагодарил с изысканной учтивостью и предложил заплатить. — «Что вы, что вы, какая плата между соседями!» — говорила, вздрагивая, стрега. Мужчина стоял на пороге и, кажется, у него теперь что-то было в руке. Аккольти поблагодарил еще изысканнее и вышел. Дверь захлопнулась несколько быстрее и громче обычного.

Он поднялся к себе и выпил залпом всю порцию водки. Его очень обожгло, но стало гораздо легче. Сел на постель и подумал, что потерял голову: как же можно было в таком виде показываться людям? Донесут? Нет, не успеют. Аккольти подошел к окну, времени все еще оставалось много. Снизу, из окна, до него донесся смех, звук поцелуев. Он вдруг пришел в ярость, вышел, хотел было снова постучать — и опомнился. Застегнув кафтан, он выбежал из дому.

8

...За Микеланджело, стараясь приспособиться к его ходу, шел тот молодой художник, который копировал группу «Страшного Суда». Он что-то восторженно говорил. Микеланджело шел, не глядя на него и не слушая, он только чувствовал, что это счастливый человек, верящий — как они все — в искусство, верящий в то, что искусство — великая радость. Бесплезно и незачем было

объяснять им правду. Он думал, что теперь все кончено: посмотрел в последний раз, руки больше не слушаются, глаза больше не видят. На солнце он опять лишился зрения. Сбоку заржала лошадь, он не видел лошади, но по ржанию почувствовал, что это прекрасное животное, — страстно любил все живое, за исключением людей. Молодой художник продолжал нести вздор о «Страшном Суде», — точно он мог это понять, точно кто-либо мог понять это...

Какой-то человек нагнал их и, низко поклонившись, сказал, что святой отец просит мессера Буонаротти пожаловать к нему, в сад. Микеланджело не обратил внимания на эти слова, — зачем ему теперь люди, зачем ему и сам папа? Слуга вполголоса ответил, что старик очень устал и болен: святой отец извинит.

«Если домой, то направо», — прокричал слуга. Микеланджело остановился и растерянно обвел двор ничего не видящими глазами. «Это бельведерский двор, вот торс, ваш торс», — пояснил с улыбкой художник.

— Бельведерский торс! — вскрикнул Микеланджело.

На дворе стоял древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Художникам было хорошо известно, что Микеланджело считает этот обломок высшим из самых высоких творений искусства: он говорил, что никто никогда не создал ничего хотя бы близкого к этому по достоинству. Слуга осторожно подвел его к торсу. Старик прикоснулся к мрамору одной рукой, потом двумя, на лице его изобразилась радость и нежность. Неизвестно, когда жил в древности человек, неизвестный афинянин Аполлоний, сын Нестора, и изваял эту статую, и два тысячелетия ждал другого человека, который мог ее оценить, хотя не мог создать равного. Он думал, что в этом торсе есть священная простота, без которой нет ничего, и что сам он был ее лишен и потому проиграл свою жизнь. В его фресках было значение, непонятное другим людям. Но *это* ничего не значило. Тот лучше знал, как надо творить, — он же во всем заблуждался: все было обман. «*Beati pauperes spiriti, quoniam ipsorum est regnum caelorum*»¹, — сказал он вдруг и заплакал. Художник смотрел на него с недоумением, испугом и жалостью. Микеланджело рыдал, глядя руками мрамор Бельведерского торса.

9

Пий IV в самом деле не считался с церемониалом. К обеду приглашал гостей, хоть папе полагалось обедать одному, за небольшим столом, под балдахинном; а некоторых приглашенных, притом не самых почетных, сажал против себя, хоть по правилам никто не должен был сидеть против папы. В этот день, впрочем, заведующий церемониалом не мог особенно пожаловаться: к столу, в только что отстроенном казино, были приглашены кардиналы и иностранные послы. К концу обеда мажордом доложил, что в Ватикане сейчас находится престарелый Микеланджело. Папа обеспокоился: зачем старик выходит в такую жару, при сирокко? — велел позвать гостя к себе в сад и вынести для него

¹ Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное (лат.)

из дворца покойное кресло. Гости только переглянулись: никто из них иначе, как за столом, не садился в присутствии папы. Заведующий церемониалом был так недоволен, что, докладывая просьбы об аудиенции, пропустил в этот день имя Вазари: достаточно милостей художникам.

Гости перешли во вторую залу. Папа отправился на прогулку. За ним слева шел слуга, несший над его головой зонтик. Только важнейшие должностные лица знали, что этот ничем как будто не выделявшийся лакей в действительности лучший римский сыщик, приставленный к папе для незаметной охраны. По его виду никак нельзя было подумать, что он ударом кулака может сбить с ног сильного человека, что зрение у него как у хищной птицы, что он все видит, ни на что не глядя. Так и теперь сыщик, не сводивший, казалось, глаз со своего зонтика (держал его очень ровно, все на одном расстоянии от головы папы), еще шагах в пятидесяти заметил, что в конце главной аллеи, справа, несколько раньше, чем нужно, опустился на колени какой-то человек. Сыщик не рассуждал логически и не подумал вполне отчетливо, что у этого человека из-под черного бархатного кафтана торчит снизу кожаный камзол, что люди так не одеваются, особенно в жару, что упал он на колени ближе к середине аллеи, чем полагалось бы, и что сделал рукою странное движение. Но почти бессознательно сыщик впитал в себя все это. Самым естественным, незаметным движением он взял зонтик из правой руки в левую, отстал, как бы случайно, на полшага, оказался по правую сторону папы и небрежно опустил руку в карман, где у него находился тяжелый, короткий кастет. Чуть наклонившись собранным телом вперед, несколько не изменив положения зонтика, он задумчиво шел за папой дальше, совершенно не глядя на упавшего на колени человека.

Аккольти сунул руку за пазуху и осторожно, не коснувшись лезвия, взял кинжал за рукоятку. Он вполне владел собой и твердо помнил: уколется — умереть. Подумал еще, что это был бы лучший исход: совершить великое дело, избегнув пыток и казни. Папа подходил все ближе. Аккольти чуть приподнял от земли левое колено, уперся носком в землю и повернул руку за пазухой. Сыщик, еще немного наклонившись, искоса бросил на него мгновенный режущий взгляд, на всю жизнь запомнил его лицо и подумал, что надо, непременно надо, возможно скорее выяснить, кто этот человек. Аккольти показалось, что неприятный лакей, так неудачно загородивший ему дорогу, может помешать делу.

В эту минуту с новой силой рванул затихший было сирокко. И в порыве ветра Аккольти вдруг услышал голос. Он замер: голос предписывал ему отложить дело, необходимы сообщники. Рука его разжалась, его душу залило счастье, почему-то в воображении промелькнула соседка... Папа прошел по аллее. Неприятный лакей рассеянно оглянулся и поверх головы Аккольти смотрел назад, куда-то вдаль. Зонтик плыл в воздухе все на том же расстоянии от головы папы.

II. Мудрец

Молодые Буонаротти очень обрадовались, узнав о предстоящем приезде Вазари. Трудно было найти более приятного гостя, а они теперь были рады всем — с особым удовольствием показывали свое новое имение. Оно этого действительно стоило. С ремонтом, с пристройками, с покупками обошлось в большую сумму, но Леонардо мог себе это позволить: получил от дяди огромное наследство. Микеланджело их при жизни не баловал, да и сам жил весьма небогато, во многом себе отказывал, постоянно всех уверял, что разорен и что умрет под забором.

На наследство они с Кассандрой рассчитывали давно, часто между собой по вечерам, уложив спать детей, об этом наследстве тихо говорили. — «Что, если он все оставит на благотворительные дела? Что будет с детьми?», — испуганно спрашивала мужа Кассандра. — «Нет, никогда он этого не сделает, он нас любит, — обычно отвечал Леонардо, — рано или поздно все останется нашим детям» (легче было говорить: «детям», чем «нам»). Но уверенности у них не было, и говорили они «рано или поздно» уже немало лет. Разговор о наследстве, несмотря на некоторую его семейную уютность, был скорее неприятен Леонардо: он любил дядю, хоть с детских лет очень его боялся. Думал про себя, что старик поступает нехорошо и неразумно: если б выделил им при жизни часть своего богатства, они жили бы как следует, — много ли им нужно? — молились бы за него Богу и всей душой желали бы ему долголетия. «Впрочем, мы и так желаем», — испугавшись, мысленно добавлял он.

К кончине Микеланджело он опоздал: получил извещение о болезни поздно; выехав из Флоренции в Рим в тот же день, застал дядю уже в гробу и тотчас, еще на лестнице, там где дядя написал на стене «Смерть», узнал, что почти все, превзошедшее ожидания, богатство завещано им. Теперь Кассандре, детям навсегда была обеспечена свободная, привольная, хорошая жизнь. Леонардо не мог этому не радоваться, так как страстно любил семью: ему самому и вправду почти ничего не было нужно, — были бы кров, обед и бутылка сносного вина. Однако, увидев на зловещем парадном красном атласе желтое, ссохшееся, сморщенное, теперь, с закрытыми глазами, больше не страшное лицо дяди, он горько заплакал навзрыд: все-таки старик, если и не любил его (никого ведь он не любил), то поддерживал их всегда, а теперь их обогатил, и с ним прошла, хоть большей частью издали, вся жизнь, и был он великий человек, — Леонардо не интересовался искусством, но отлично это знал; а если б и не знал, то об этом достаточно наглядно свидетельствовали скорбь всех ученых людей во Флоренции и в Риме и те почти королевские почести, которые воздавались праху дяди. Леонардо роздал большие деньги на помин души, слугам, бедным, и всем вообще, кто его о деньгах просил. Траур был соблюден строго. Имение они купили под Флоренцией лишь тогда, когда это никому не могло показаться преждевременным и неприличным.

О бумагах, оставшихся после Микеланджело, Вазари ему написал тотчас после кончины старика. Потом они вскользь обменялись об этом несколькими словами во Флоренции, на необыкновенно пышных похоронах. Вазари едва мог разговаривать: беспрестанно вытирал слезы, говоря, что этот человек унес с собой весь гений и всю славу мира. Оттого, что он плакал и что с ним плакали, забыв теперь вражду, зависть, личные счеты, старые люди, знаменитейшие художники Италии, все росли горе и волнение Леонардо.

Свидание по делу о бумагах Микеланджело довольно долго не налаживалось. Получив письмо, Леонардо тотчас ответил, что Кассандра и он будут чрезвычайно рады приезду Вазари, ждут его непременно. В большом прекрасном доме все пять комнат, предназначенные для гостей, в эти чудесные весенние дни были заняты. Для нового гостя приготовили лучшую комнату дома, называвшуюся рабочим кабинетом, хоть собственно Леонардо ни над чем не работал. Хозяева отправили во Флоренцию дворецкого (у них теперь был и дворецкий), велели купить книг, — много, не меньше ста, — положившись на выбор книгопродавца, а также ящик с красками, холсты, картоны. Леонардо все же недаром был племянником Микеланджело: знал, что нужно для такого гостя, и надеялся, что он прогостит у них долго. Выбрал для Вазари лучшую из двенадцати лошадей, теперь стоявших у него на конюшне, велел заново выкрасить ее и надушить благовонной жидкостью, как делали только очень богатые люди, и в назначенный день, на другой свежеевыкрашенной лошади, выехал встречать гостя.

Леонардо ахнул при виде Вазари, — так тот изменился: состарился, исхудал, поседел. Тут только Леонардо вспомнил то, что мельком стороной слышал: с его знакомым случилась история, на старости лет он влюбился будто бы как юноша в женщину веселого нрава, чуть только не колдунью, которая его, разумеется, скоро бросила и даже, как говорили, обобрала. По разговору Вазари, однако, никак нельзя было сделать вывод, что он несчастлив. Как всегда, — быть может, даже несколько больше, чем всегда, — он был оживлен, приветлив, занимателен. Всем интересовался, как оказалось, очень много работал и по живописи, и над вторым изданием своей книги. Кассандре наговорил любезностей, от которых она, по непривычке, зарделась, детей расцеловал и роздал им дорогие подарки, чрезвычайно хвалил дом, сад, мебель. Вправду, невозможно было подыскать более приятного, светского гостя.

Пока Леонардо показывал — Вазари в первый раз, а другим гостям в третий или четвертый — имение, лошадей, собак, Кассандра, дворецкий и повар работали над обедом. Он был изготовлен и сервирован превосходно. Салат, с кремонской мортаделлой, имел форму слона, устрицы были в раззолоченных раковинах, соус надушен, птица начинена орехами; перед обедом в серебряных кубках подали венгерское, а после обеда апельсины в горящем соусе и генуэзский пирог, политый еврейским вином. Все это было модно и доступно только богатым людям. Но, хотя гости были люди не очень большого достатка и хотя всем им было отлично известно, что еще совсем недавно молодые Буонаротти жили почти бедно, на деньги, которые им присылал изредка Микеланджело, насмешливого недоброжелательства к хозяевам почти не было: так ясны были

каждому их добродушие и желание доставить возможно больше удовольствия приглашенным; они были новыми богачами, но без пороков и чванства новых богачей.

За обедом разговор зашел о политических новостях, о заговоре против папы. Один из гостей, приехавший прямо из Рима, рассказывал подробности этого дела. Главарем был некий Бенедетто Аккольти, по-видимому, сумасшедший. Он утверждал, что ему предписал убить папу какой-то голос, что скоро произойдет изгнание турок из Европы, потом столпотворение, потом что-то еще, — и весь мир станет счастливым...

— Возьмите к мясу этой фиговой подливки, она очень вкусная, — предложила Кассандра. — Извините, я вас перебила. Так как же вы сказали?

— Дело это темное... Подробности держатся в тайне. Говорят, что Аккольти должен был заколоть отравленным кинжалом папу не то в Сигнатории, не то в Сикстовой капелле, — у фресок вашего дяди, — сказал гость с улыбкой, обращаясь отчасти к Леонардо, отчасти к Вазари, как к самому осведомленному во фресках человеку (всем показалось, что Вазари немного изменился в лице). Когда папа проходил во главе процессии, Аккольти бросился на него с отравленным кинжалом. По другим слухам, он только пытался выхватить кинжал и не решился, а арестовали его дома, их выследил какой-то замечательный сыщик. А может быть, их просто выдали... Удивительнее всего то, что ему удалось найти сообщников, которые уверовали в его бред, и он их совершенно подчинил своему влиянию, а между ними были люди из хороших семейств, как, например, граф Каносса...

— Каносса? — переспросил Леонардо и рассказал, что покойный дядя вел их род от каких-то графов Каносса. — Серьезно требовал, чтобы я подписывался Леонардо ди Буонаротто Буонаротти Симони... Как многие незнатные дворяне, дядя часто говорил о своем происхождении, и я отлично знаю, что настоящие князья и графы над этим смеялись.

— У великих людей есть маленькие слабости, — сказал приехавший из Рима гость. — Что до этого Каносса, то он умер под пыткой. Другие были четвертованы на Козьей Горе. Аккольти проявил необыкновенное мужество...

— Козья Гора ведь это Капитолий? — спросил Леонардо, упорно желавший перевести разговор на менее мрачные предметы. Он рассказал, что покойный дядя очень интересовался раскопками в старом Риме и чрезвычайно высоко ставил найденный при раскопках торс.

— Не смею говорить в вашем присутствии, — обратился он к Вазари, который все время молчал, — но мы, простые люди, ничего особенного в этом торсе не видим. Я, однако, вполне признаю, — смеясь, добавил он, — что дядя понимал это лучше меня. Его лакей рассказывал мне, что он уже слепым приходил к этому торсу, гладил его и плакал. Это так меня взволновало, что я тогда же, в Риме, заказал себе хорошую копию торса. Вы ее верно видели? Она стоит в моем кабинете...

— И я допускаю, что ваш дядя понимал многое нам недоступное, — сказал, тоже улыбаясь, Вазари.

После обеда Вазари повели к детям. — «Так уж у нас полагается, ничего не поделаете», — говорили весело родители. Нельзя было не поддаться атмосфере радостной, привольной, честной жизни, которая стояла в этом счастливом доме. Дети были славные. — «Который гениальный?» — спросил, не удержавшись, Вазари. — «Ни одного гениального нет, — смеясь, ответил Леонардо, — вся наша семейная гениальность, видно, ушла в покойного дядю, а они будут, как я, неучи и дураки... Правда, Буонаротто?...». — «Ну, ну, перестань», — запротестовала Кассандра.

Обещав детям сейчас же вернуться, они прошли в кабинет устраивать гостя. Там Вазари заговорил о своем деле; Леонардо тотчас, с полной готовностью, достал из шкапа дорогую шкатулку: в ней было все, что осталось от Микеланджело. — «Рисунков сохранилось мало, дядя многое сжег перед смертью», — пояснил Леонардо. — «Вот уж не понимаю, зачем. Лучше бы оставил для бедных, верно, за каждый его рисунок можно получить золотой», — вставила Кассандра. — «Дело не в этом, — поспешно поправил ее муж, — зато письма у меня сохранились, кажется, все. Одно только, — сказал он, засмеявшись на этот раз несколько принужденно, — дядя был человек суровый и со мной не церемонился. Я не хотел бы все же, чтобы вы судили меня слишком строго. Дядя иногда бывал ко мне несправедлив»... Вазари успокоительно потрепал его по плечу. — «Я достаточно знал Микеланджело», — сказал он.

Оставшись один, Вазари устало опустился в кресло. Он почти жалел, что приехал: так тоскливо ему было в этом чужом доме. Подумал, что с утра его верно рано разбудят: детская была рядом с кабинетом, и оттуда доносились радостные крики. На столе в необыкновенном порядке были расставлены письменные принадлежности. Около стола, на этажерке стоял тот самый торс. «Изваял афинянин Аполлоний, сын Нестора», — прочел Вазари греческую надпись. — «Да, конечно, это прекрасно, я помню, — подумал он, — но одним художественным совершенством ничто не могло поразить Микеланджело. И сам он мне что-то говорил о простоте, о спокойствии, о мудрости. Он называл этого грека мудрецом... Теперь это пенат у Леонардо... Ну, что ж, и этот тоже мудрец».

Вазари вздохнул и стал просматривать письма, написанные хорошо ему знакомым твердым, четким, вертикальным почерком. В них интересного было немного: все дела житейские и семейные. Микеланджело действительно не церемонился с племянником. «Не знаю, приехал ли бы ты ко мне, если бы я находился в нищете и без куска хлеба, — читал Вазари. — Ты только и заботишься о том, как бы получить мое наследство, а говоришь, что это был твой долг приехать сюда из любви ко мне. Если бы ты и вправду так любил меня, ты бы написал: «Дорогой Микеланджело, истратйте эти деньги на себя в Риме, так как вы нам уже достаточно давали, нам ваша жизнь дороже ваших денег...» Я был болен, ты же пришел ко мне, ожидая моей смерти и желая знать, оставляю ли я тебе что-нибудь. Неужели тебе мало того, что я имею во Флоренции? Ты очень

похож на твоего отца, который выгнал меня из моего собственного дома. Знай, я так составил мое завещание, что ты не должен больше мечтать о моем имуществе в Риме. Убирайся с Богом, не показывайся мне на глаза и не пиши мне больше...» Эти письма, очевидно, нельзя было использовать в книге.

Оказались в шкатулке и стихи Микеланджело. «*Condotta da molti anni all ultime ore — Tardi conosco, o mondo, i tuoi diletti...*»¹ — читал Вазари. «Да, невесело прожил старик, — подумал он. — Но кто же прожил умно? Уж не я ли?...» Он усмехнулся и, оторвавшись от стихов, уставился в выходившее в сад окно. «Вот и я узнал поздно... Она ворвалась в мою жизнь, исковеркала ее... Она в самом деле была колдунья... Нет, она просто не понимала, в чем дело: за что я сержусь, почему мучаюсь, чего хочу? Повеселились — и слава Богу... От меня сбежала с мальчишкой, теперь сбежала и от него...» Из детской донесли счастливые голоса, визг. «*...La pace, che non hai, altrui prometti, — E quel ripose che anzi al nascer tuore... — Che'l vecchio e dolce errore...*»² «Она тоже говорила, что все было ошибкой... Я знаю, ей не сносить головы, как тому сумасшедшему...» — «*Di me, che'n ciel quel sol ha miglior serte — Che ebbe al suo parte più pressa la morte...*»³ — «Вот разве что так. Но чему же тогда научил его афинянин Аполлоний, сын Нестора!». — «Ты глуп, Буонаротто, ах как ты глуп, Буонаротто Буонаротти Симони!», — говорил за стеной счастливый голос Леонардо.

¹ До последнего часа сожалею об истекших годах, — поздно изведал я, мир, твои наслаждения (итал.)

² «...Неведомый тебе покой другому ты сулишь, — Покой, что умирает, не родившись, — лишь сладостное заблуждение...» (итал.)

³ «...Скажи мне о том, что небо, на котором прекрасное солнце восходит. Многие знали о смерти...» (итал.)